

**Я**

возвращался из больницы, где лежала моя жена.

Главный вход уже закрыли — никого из врачей или запоздалых посетителей не было видно ни в коридоре, ни на черной лестнице, и только на улице у больничных ворот умиротворенно дремали две крупные собаки. Я вышел за ворота и остановился. В теплом воздухе пахло еловой смолой, и оттого тревога моя как будто ушла вглубь, постепенно поддаваясь ласковому спокойствию летнего вечера. На пяточке у остановки стояли люди, ожидая последнего автобуса в город.

Первый раз мы приехали сюда вчера утром, и вокруг все было совсем не таким, как сейчас. Повсюду сновали люди, подъезжали машины, лихо шурша колесами по гравию. К главному входу тянулась длинная очередь, и мы встали в конец, нетерпеливо оглядываясь, будто надеясь, что нам можно пройти просто так. Жена молчала, машинально разглядывая свою фотографию в паспорте, который ей нужно было сейчас предъявить охраннику.

Подошли к проходной. Охранник медленно записал наши данные в толстую тетрадь и коротко объяснил, как пройти, но мы слушали рассеянно и долго еще потом плутали в поисках входа в нужное отделение. Жена не мешала мне разбираться в больничных закоулках, но и не пыталась

помочь, а просто ходила следом — я заметил, что ей неуютно было в этих длинных мраморных коридорах. Я же, напротив, радовался, что смог удивить ее оперироваться в дорогой больнице, и обращал внимание на каждую мелочь — на огромный мягкий диван у входа в отделение, на просторный холл с телевизором, на чистоту стен и полов.

Когда мы вошли в палату, там никого не было. Воздух, спертый от жары, казался тяжелым и неподвижным. Я распахнул окно и удивился, какой плотной зеленой стеной окружал больницу лес.

— Смотри, как здесь красиво... Можно представить, что тебя украли и насильно хотят выдать замуж, — неловко пошутил я. А она взглянула на меня внимательно и хмуро, так, что мы оба почувствовали, что вчерашняя ссора не закончилась и не забылась.

Я тяжело вздохнул и остался у окна, рассматривая уходившую вдаль полосу леса, пересекаемую высотными зданиями начинавшегося на горизонте города. Я злился на то, что она еще обижается, хотя прошла уже ночь и можно было бы успокоиться за это время, а она злилась от того, что я мог подумать, что у нее все могло пройти, будто ее обида была чем-то неважным...

Въехал на пяточок автобус, принялся неловко разворачиваться, не уместаясь своим неуклюжим железным телом на маленьком пространстве и потому то отъезжая назад, то подаваясь вперед. Люди обступили его, а потом спешили войти внутрь, чтобы занять места. Я машинально подчинялся их напору, не ощущая общей торопливости и только чувствуя скользящую тело усталость. В голове носились обрывки случайных фраз, ее слов, обращенных ко мне, но голос отчего-то был неласковым и даже раздраженным.

Я вспомнил, как вечером перед тем, как лечь в больницу, мы вернулись домой. В квартире было душно, потому что, уходя, я забыл открыть окно. Жена молча снимала туфли с усталых ног, стараясь не встречаться со мной взглядами. За несколько месяцев нашей семейной жизни я, кажется, научился чувствовать ее состояние. Я знал — что-то гложет ее сейчас, какое-то эмоциональное движение нарастает внутри, готовясь вылиться наружу, но не мог ничего изменить.

В такие часы мы делали по дому больше, чем иной раз за неделю. Жена начинала размеренно протирать туфли влажной тряпкой, а потом намазывала их черным смолистым кремом, я же шел на кухню и убирал оставшуюся после завтрака посуду со стола. Я не знал, нужно ли греть ужин, и боялся спросить ее об этом, и потому, помыв посуду, просто стоял посреди кухни, опершись на раковину и чего-то ожидая.

Когда я вернулся в комнату, жена уже легла. Я облегченно вздохнул и сел за письменный стол, пытаюсь хоть немного поработать, но все-таки чувствовал, что она не спит, хотя и не подходил к кровати, убеждая себя, что ей нужно выспаться перед завтрашней поездкой в больницу. Вдруг я услышал, что она плачет. Торопливо поднялся и присел рядом, пытаюсь обнять, но жена отстранялась, будто мои прикосновения обжигали ее.

— Ну почему? Что происходит? — спрашивал я. — Скажи мне, ведь я всегда готов помочь.

Но она не отвечала и только вздрагивала своим хрупким телом при каждом всхлипе. Наконец, будто собравшись с силами, повернула ко мне заплаканное лицо и выговорила с ожесточением:

— Я всегда буду у тебя на втором месте... Я уже ненавижу твою литературу, — и отвернулась опять.

Это было несправедливо, я хотел возразить ей, переубедить, но едва я начинал что-то говорить, голос мой становился слабым, а фразы казались ненастоящими.

— Все будет хорошо, — только и мог сказать я. — Это такой период, его нужно пережить...

— Не будет хорошо, — возразила она резко, лишь немного отнимая лицо от подушки. — Зачем ты врешь?! Разве ты не видишь, что с каждым днем становится только хуже?

До того, как мы начали встречаться, она полгода была влюблена в меня. Я же мечтал о сосредоточенной писательской жизни, которая ждала меня впереди, и совсем не замечал ее рядом. И теперь я понимал, что эти обидчивость и мнительность связаны именно с тем периодом безответной любви, но не знал, что же мне делать. Мне казалось — сейчас-то я рядом, что же еще нужно, и разве не видно, как сильна моя любовь... Меня раздражали ее легкомысленные слова о том, что у нас все плохо, как будто она радовалась, что это так, или просто искала повод расстаться. Еще я злился на то, что она совсем не думает о том, что завтра нам рано вставать, ехать в больницу, а мне потом еще и на работу на другой конец города — но нет, ей важны были только свои переживания! Так мы и лежали, она — отвернувшись, я — борясь с собственным раздражением...

Автобус повернул, размашисто вильнув тяжелым телом, так что я мгновенно оказался на солнечной стороне. И от ярких красных лучей, хлынувших в меня, вдруг так горько стало, что мы как два расстроенных инструмента никак не можем найти ту ноту, на которой сошлись бы наши голоса. И почему я в тот вечер поддался эмоциям, а не успокоил ее, — думал я с досадой...

Следующий день прошел бестолково, в заботах и суете, я позвонил ей только после работы. Прижимая телефон к уху, стоял перед огромным раскаленным шоссе, по которому то и дело проносились пышущие жаром машины — было плохо слышно, и оттого ее голос казался особенно слабым. Вроде бы она просила меня не ездить к ней, не мотаться. А я только вздыхал в ответ на ее беззащитную гордость, на желание показаться сильнее, как будто она могла вот так вот легко обойтись без моего присутствия в этот важный вечер перед операцией.

Когда я приехал в больницу, жена находилась в палате. Она только что перетерпела долгую и неприятную процедуру и теперь была в приподнятом настроении, оттого что на сегодня уже все закончилось. Мы сели рядом и стали рассматривать причудливые следы от зеленки на ее простыне.

На другой стороне просторной палаты лежала большая кряжистая бабушка с громким грудным голосом. Она сразу же заговорила со мной, будто бы продолжая давно начатую беседу, а потом принялась предлагать яблоки из своего сада. Кажется, нам с женой приятно была ее суетливая разговорчивость — легко было кивать или отвечать что-то простое, для чего не нужно было старательно подбирать слова. Бабушка оказалась очень набожной: вокруг ее кровати стояло множество икон, которые она привезла с собой из дома. Иконы громоздились на тумбе, закрывая баночки с лекарствами и мешочки с яблоками, но не умещались там и потому расходились по спинке кровати в одну сторону и по подоконнику — в другую. Потом жена рассказала мне, что у бабушки недавно умер сын, и теперь она часто упоминала о нем без причины.

И все-таки нам хотелось побыть вдвоем, и потому через некоторое время мы вышли в коридор. Там от окна до окна ходил мягкий прохлад-

ный ветер, приятно щекотавший лицо и руки. Но, даже оставшись одни, мы не стали разговаривать, а молча сели на огромный мягкий диван на входе в отделение и замерли, ощущая теплоту друг друга. Ссора еще чувствовалась между нами, но уже не обидой или раздражением, а едва заметным отдалением, будто что-то внутри не давало нам быть полностью открытыми между собой.

Потом осторожно мы стали заговаривать о чем-то незначительном — то о прошедшей мимо нас доброй пожилой медсестре, которая приветливым обхождением помогала многим больным легче переносить процедуры, то о забавном случае на моей работе — как бы пробуя на вкус ту или иную тему. А на прощание жена сказала, что скучает и хочет домой, и я обрадовался, что наша старенькая съемная квартира, которую она всегда называла чужой, теперь уже как будто стала для нее родным местом.

Ее слова грели меня весь вечер, неожиданно вспоминаясь и волнуя сердце. А когда я вернулся домой, в ту самую нашу квартиру, мне почему-то показалось, что жена здесь, спит на кровати, а может, даже плачет, как прошлой ночью. Но в квартире было пусто и одиноко. Я слонялся из комнаты на кухню и обратно, потом сел за стол и вдруг почувствовал, как сильно виноват перед ней.

Она выносила нашу любовь, как ребенка, мучаясь, растя в себе маленький огонек — самое важное, что у нее было тогда в жизни. Когда мы уже стали встречаться, она иногда рассказывала мне, как тяжело ей было хранить его в себе, уже не надеясь на взаимность, — я кивал в ответ, жалея ее, но не ощущал эти слова кожей: они проходили сквозь меня, не задевая. Ко мне ведь чувство пришло неожиданной вспышкой, пронзительной радостью ощутить любящего человека рядом, и я беспечно отдавался этой радости, эгоистически наслаждаясь ею. И даже после свадьбы я почти не думал о нас, а больше о литературе — мне жадно хотелось писать, а жена все эти месяцы жила со мной, не чувствуя меня рядом; ждала отклика, но не могла получить его.

Я поднялся и медленно лег на кровать, но не мог справиться с нахлынувшим чувством вины. Я представлял, как она плачет здесь одна, отчаянно надеясь, что я подойду и скажу что-то такое, отчего она мгновенно поверит в искренность моей любви, но я только раздражаюсь от этих слез и принимаюсь бессильно успокаивать ее дежурными фразами, от которых становится только тяжелее...

Следующим утром я проснулся от сильной тревоги. Я лежал, пытаюсь успокоиться, собрать растрепанные мысли, но с каждой минутой все яснее ощущал, что жене предстоит сегодня настоящая операция, что это будет общий наркоз — и почему же я не боялся этого раньше?! Я столько переживал о наших отношениях, о ссоре и даже не подумал о возможной опасности. А жена волновалась, я только теперь понимал, как сильно она волновалась, но не хотела показать мне этого.

Она обещала позвонить перед тем, как ее повезут в операционную, но мой телефон молчал, и после обеда я сам набрал ее номер. Абонент был недоступен. Я понял, что операция уже идет, а она просто забыла или не успела позвонить, но равнодушные механические слова в трубке все равно отзывались во мне мучительным холодом. И страшно было, что я сегодня не услышал ее голос, не сказал что-то важное, что могло бы успокоить ее, дать сил.

И весь сегодняшний день мне казалось, что воздух вокруг натянут и может порваться в любой момент, а исход операции зависит от одного

моего слова, неосторожного движения. Я сидел на работе, а из другой комнаты вдруг вышла незнакомая женщина и, громко хлопнув дверью, выговорила со злостью: «Какие же здесь все идиоты...» Все содрогнулось во мне от этих грубых слов, будто пленка задрожала, готовясь порваться — а ведь именно в этот день она была особенно тонка, и потому в мире должно было быть как можно меньше злости.

А потом я сидел неподвижно, закрыв глаза, чтобы успокоиться, и слушал, как в соседней комнате работает радио. Диктор громко и проникновенно говорил об известных актерах и актрисах, которые жили театром, и творчество было так важно для них, так постыдно-возвышенно и оторвано от жизни. Но как же чуждо и нелепо это звучало в тревожном ожидании этого дня.

Телефон по-прежнему молчал, и я ничего не знал о ней до тех пор, пока вечером не приехал в больницу. Я торопливо двигался по запутанным коридорам, а сердце сжималось от страха. Наконец я побежал, втиснулся в грузный лифт, ощущая его мучительную медленность. И вот мелькнули передо мной тот диван, где мы сидели вчера, холл с телевизором, пост дежурной медсестры и сама медсестра где-то в глубине ординаторской. Я хотел окликнуть ее, спросить о главном, но не знал, как именно выразить свой вопрос. Голос не слушался, и я только бессильно стоял, опершись на стол, глотая ртом воздух, а потом рванул в палату.

На кровати, укрытая простыней до подбородка, лежала моя жена. Я подскочил к ней и вдруг увидел, как простыня на груди вздрогнула от вдоха. А потом, видимо, услышав мои громкие шаги, жена открыла глаза и медленно, едва заметно улыбнулась.

— Прости, я не позвонила тебе, — сказала тихим виноватым голосом.

Я замер от внезапной нежности и только дотронулся до маленького кровавого пятнышка на ее простыне.

— Все хорошо? — спросил ласково.

— Хорошо, хорошо, — услышал грудной голос сзади, и, обернувшись, увидел ее соседку — набожную бабушку. — Врач сказал, удачно прошла операция. Она молодец.

— Знаю, — зачем-то сказал я, опять глядя на жену.

Она еще не до конца отошла от наркоза, ей тяжело было говорить, и потому я старался не давать ей сказать ни слова, но и сам не мог произнести ничего особенного. Осторожно посмотрел ее рану, пропитанные пахучей мазью бинты, укрыл теплым одеялом, старательно загибая края, чтобы внутрь не проник случайный ветерок. Сел на краешек кровати.

Она кивала — иди, опоздаешь, поздно приедешь домой, а я только грустно улыбался. На тумбочке случайно заметил маленькую малиновую заколку, и так приятно стало, что в этой чужой обстановке рядом с ней лежит знакомая вещь.

Близилось время последнего автобуса, а я все еще сидел рядом, наклоняясь к подушке, касаясь ее волосами, слыша близкое дыхание. Бабушка на соседней кровати как-то особенно громко завозилась, а потом вдруг отчетливо и монотонно стала читать молитву о своем умершем сыне. Мы замерли, боясь помешать ей. Стало так спокойно и торжественно — и мы, и наша любовь, и эти тяжелые слова, будто дыхание Бога рядом. И кажется, мы оба почувствовали вдруг, как много значит этот долгий момент в нашей короткой, как одно грудное слово молитвы, жизни.

А когда бабушка закончила, я все-таки собрался уходить.

— Спасибо, что пришел, — сказала жена на прощанье, и у меня серд-

це ждалось от ее незащитности — разве я мог не прийти. Но я только улынулся, спокойно и нежно:

— Спасибо, что разрешила прийти, — и увидел, как постепенно теплеют ее глаза.

А потом в автобусе, прислонясь к мелко дрожавшему стеклу, я смотрел вокруг, и на душе было светлее, оттого что на всем этом грубом и грустном мире будто бы запечатлелась ее последняя теплая улыбка. За окном, по кромке леса на горизонте, по верхним окнам домов, разливался горячий закат. Постепенно он спускался все ниже, пока, наконец, не заполнил даже асфальт под колесами автобуса, проникая внутрь, под сидения, под ноги стоявшим людям. Я чувствовал, как он наполняет и меня, и все ссоры, тонкости отношений, непонимание — все тонуло в нем, но в тоже время что-то важное, чего я сам еще не понимал, как бы скрепляло нас друг с другом...

Раньше я думал, что в любви все должно быть идеально, что нужно искать человека, который полностью подходил бы тебе, ведь любовь должна быть один раз на долгую жизнь. Я знал, как важно, чтобы у людей совпадали мнения по многим вопросам, чтобы правильно могли соединиться все человеческие качества. Но разве так мы выбирали друг друга? Нет, и у нее, и у меня это было по большому счету внезапное влечение, совершенно не укорененное в душах. И теперь я уже понимал, как случайно было наше соединение, как много есть в нас таких шероховатостей, которые никогда не лягут гладко, не притрутся — того, что ни один из нас не сможет полюбить друг в друге, самое большее — привыкнуть. Но, даже зная об этом, чувствуя это так неотвратимо, разве можно было помыслить о ком-то другом рядом? В этом огромном всепоглощающем закате такой ничтожно короткой казалась собственная жизнь, что невозможно было ничего в ней менять и ничего другого выбирать. Моя жизнь не готовилась, как мне казалось раньше, она уже шла, и это была теперь не моя, а наша жизнь... Тополиная пушинка попала на стекло и трепетала, прилепившись к черной резиновой окаемке автобусного окна.

Я думал, как же мне сделать ее счастливой, как нам встать лицом к лицу — увидеть что-то самое важное друг в друге. Как преодолеть себя, стать чем-то большим, чем просто самолюбивым человеком со своими узкими убеждениями и предпочтениями. И так хотелось назад, еще раз увидеть ее, прижаться щекой к маленьким бледным рукам и говорить что-то очень важное, чего я, может, никогда еще не говорил, но я только жмурился от неожиданного чувства и усталости.

Жена моя... как странно происходит, вдруг шелуха жизни спадает и все проясняется. И тогда остальное — и литература, мертвая, безжизненная, призрак без костей, пластмасса, и собственные желания, и мелкие обиды — все становится неважным. И как будто море жизни открывается впереди, и только двигаться по нему куда-то за горизонт, где начинается что-то новое, счастливое и радостное...

## НИНА

На Павелецком вокзале, в тамбуре перед туалетом, умирала от рака крови женщина сорока пяти лет по имени Нина Марцваладзе. В течение двух недель она лежала на кафельном полу, завернутая в большой целлофановый мешок. Ухаживала за ней только бездомная Софиико, приносила анальгин, чтобы уменьшить боль, а иногда кормила больную. Поить же ее не разрешали работницы туалета, опасавшиеся сильного запаха.

В начале третьей недели женщину обнаружили волонтеры из группы социальной помощи при Даниловом монастыре, приходявшие на вокзал кормить бездомных. К туалету их привела та самая Софико. Она не объяснила, в чем дело, только делала таинственные знаки и все повторяла: «Сюда, сюда», будто боясь, что иначе те не пойдут за ней. И лишь в огромном холле у самого входа в туалет, стала громким шепотом рассказывать все, что знала о больной. Волонтеры слушали молча.

Их было трое. Координатора группы, девушку лет тридцати, звали Таней. Ей не нравилась сумбуренность Софико, она то и дело хотела прервать ее, чтобы спросить что-нибудь конкретное — как долго находится здесь эта женщина, каков точный диагноз, какие документы есть у нее при себе, но только хмурилась и напряженно сжимала пальцы на руках. Худощавый молодой человек с легкой щетиной на лице рядом с ней по имени Юра слушал взволнованно, с неясным ему самому внутренним вдохновением. Он совсем недавно начал ходить к бездомным и все еще чувствовал беспечную радость от возможности оказать кому-то помощь. Вторая девушка, Мила, первокурсница с теологического факультета, недавно приехавшая в Москву, почти не воспринимала слова Софико и только испуганно глядела на них с Таней.

Пока они стояли перед кассой, работница туалета поглядывала на них со злостью, уже зная, зачем они пришли.

— Тридцать рублей вход, — сказала громким нервным голосом, немного наклоняя голову вперед, как будто заранее готовясь встретить сопротивление.

— Мы пришли к той женщине, — настойчиво возразила Таня. Ей не жаль было денег, но она не могла терпеть любую несправедливость и потому ни в коем случае не хотела уступать.

— Есть у вас совесть? — поддержал ее Юра с нарочитым укором, наклоняясь к самому окошечку кассы.

— Тридцать рублей, — повторила работница туалета. Ее саму раздражало присутствие здесь больной, которую отказывалась забирать милиция, и оттого еще сильнее хотелось выплеснуть раздражение на холеных молодых ребят, не знающих, что такое ежедневное изматывающее сидение на кассе, но пришедших сюда с благородными лицами осуждать ее.

— Почему вы не хотите, чтобы мы прошли? Мы просто хотим помочь, — не сдавался Юра, чувствуя в ожесточении этой женщины слабость и надеясь ее уговорить. А Мила только торопливо искала деньги в кошельке — ей казалось, каждая секунда этого разговора мучает ее, и она готова была все отдать, лишь бы никто больше не спорил.

На белых кафельных полах вразнобой лежали чьи-то следы, обрывки намокшей бумаги, мятые пластиковые стаканчики у стен. Откуда-то пахло сигаретным дымом, хотя курить в туалете было запрещено. Еще несколько секунд они как-то растерянно озирались, но потом заметили находившуюся за дверью больную.

Нина лежала неподвижно. От громких голосов она, кажется, проснулась и едва разлепила глаза, но не в силах была долго держать их открытыми. Таня подошла к ней первой и наклонилась, стараясь разглядеть лицо.

— Как вы себя чувствуете?

Женщина шумно вздохнула. Одета она была в засаленную желтую кофту и мелко дрожала, то ли от холода, то ли от болезни.

— Надо подложить что-нибудь под спину, — осторожно сказал Юра и попытался неловко приподнять Нину за плечи.

— Вы можете встать? — еще раз обратилась к ней Таня, но та только жалобно покачала головой, втягивая губами воздух, и Юра опять положил ее на пол, не зная, что же делать дальше. Таня присела на корточки и теребила краешек целлофанового мешка, в который была завернута Нина, будто хотела разорвать его.

— Она хочет пить, — вдруг вмешалась Софико, — ее здесь не поют совсем, — а потом повернулась назад и мстительно взглянула на работницу туалета, наблюдавшую за ними, стоя у турникета. Все словно очнулись после ее слов: Таня поднялась решительно, а Юра, радостно сжав руки, поспешил в холл, где стоял огромный автомат с водой и сладостями. Софико зачем-то выскочила за ним и внимательно наблюдала, как он покупает бутылку воды, поглядывая на него, но все не решаясь о чем-то спросить. А когда прошла обратнo, нарочито громко сказала работнице туалета: «Я пройду», будто пытаюсь показать, что теперь она не просто бесправная бездомная и сила уже на ее стороне.

Юра осторожно поднес горлышко бутылки к губам Нины. Женщина сделала несколько глотков и благодарно кивнула, но почти сразу же ее лицо исказила гримаса, будто вода, проникая в нее, задевала что-то болезненное внутри. И только через минуту неожиданный приступ прошел, Нина закрыла глаза и задышала ровно и глубоко.

Волонтеры глядели на все это с ужасом. А когда приступ закончился, не сговариваясь, отошли к выходу из туалета, будто желая оставить ее в покое, и некоторое время еще молчали.

— Социальный патруль? — осторожно предложил Юра.

— Да, патруль будет не лишним, — рассеянно выговорила Таня.

— Самое лучшее, конечно, хоспис, — продолжал Юра, ободренный этим согласием.

— Да, да, — неожиданно для себя самой оживилась Мила. — Давай-те в хоспис!

Но Таня больше не отвечала и только ожесточенно сжимала руки. Она не знала, что делать в такой ситуации, и ей было еще тяжелее от того доверчивого внимания, с которым ребята смотрели на нее. Сама она была ранимым и тревожным человеком, но иногда какая-то сила наполняла ее, и тогда Таня ехала на благотворительные ярмарки, проводила евангельские встречи, организовывала группы по работе с бездомными, не чувствуя, что истощенное тело не выдерживает нагрузки. А потом, едва выдавался свободный день, не могла встать с кровати и лежала до вечера без сил. И вот теперь она ощущала именно такую усталость.

— Если она грузинка, то в хоспис не получится, — сказала машинально, — хотя я не знаю, надо уточнить... — заторопилась, как бы извиняясь за свою слабость.

— Она же давно здесь живет, — неуверенно возразил Юра. — Должно быть гражданство.

Таня еще раз вздохнула, а потом повернулась к Софико, переминавшейся с ноги на ногу неподалеку, и спросила строго:

— У нее есть документы?

При упоминании о документах Софико пожала плечами и недовольно скривила губы, будто у нее требовали ее собственные. Тогда Таня вернулась к Нине и спросила, осторожно разворачивая целлофановый мешок и стараясь не вдыхать кислый запах:

— Я возьму у вас паспорт?

Нина только зашевелила губами, будто стараясь прожевать, но не



открыла глаз. Преодолевая неожиданное отвращение, Таня попыталась нацупать в карманах что-нибудь твердое. Наконец нашла корочку документа, вытащила и машинально сделала шаг назад. И сразу же увидела на краешке страницы насыщенно-синие праздничные цвета, так непохожие на обычную бледность российского паспорта.

Юра подошел следом, взял из ее рук паспорт и открыл, внимательно вглядываясь в фотографию, с которой смотрела молодая черноволосая женщина.

— Красивая, — зачем-то сказал он и смутился, что Нина может услышать его. — Но это же документ, он действительный! Гораздо хуже ведь было бы, если бы он потерялся... Надо попробовать в хоспис, там за ней хотя бы будут ухаживать...

Таня кивнула, но по-прежнему думала о том, что ничего нельзя сделать.

Тем временем Софико смотрела на них сердито. Приходившие на вокзал волонтеры раньше казались ей важными людьми, и она надеялась, что они быстро во всем разберутся и всех накажут. А теперь была разочарована их собственной растерянностью.

— Нинка хотела умереть дома, в Грузии, — ожесточенно заметила она, будто споря с кем-то из них.

— У нее там родственники? — удивилась Таня. — Они могут ее принять?

— Откуда я знаю?! — ответила та с неожиданной обидой. А потом отвернувшись, села на корточки и, опершись спиной на стену, с наивной картинностью закрыла лицо руками. Ей было и жаль Нину, и грустно за себя, и досадно, что она потащила сюда с этими людьми и только подставилась перед кассиршей без толку.

— В Грузии, наверно, климат лучше, там можно дольше прожить, — заметил Юра, стараясь сгладить неловкий момент, но Софико продолжала сидеть, держа руки перед глазами и иногда покачиваясь грузным телом. Все опять замолчали, как бы не в силах преодолеть вязкость собственной жизни. Юра некстати вспомнил, что сегодня хотел сходить на вечернюю службу в церковь, но сразу же отогнал от себя странную мысль.

В этот момент у входа всхлипнула Мила. Она сама не отдавала себе отчета в том, что плачет, — просто стояла, а из глаз текли слезы. Не понимая толком, о чем спорят Таня и Юра и что за проблема с паспортом, она все это время думала только о том, что эта неизлечимо больная женщина скоро умрет, и от этой жуткой определенности ей становилось невыносимо тоскливо.

Юра увидел ее слезы, сокрушенно вздохнул и улыбнулся.

— Ну вот, теперь у нас у всех глаза на мокром месте...

Подошел к Миле, ласково взял ее за плечи.

— Глупышка, все образуется, ведь затем мы и здесь, — заговорил нарочито мягко, как с ребенком.

Для Юры, действительно, все было просто — любого человека вел по жизни Божий промысел и нужно было только захотеть следовать за ним, чтобы все стало хорошо. И так приятно было сказать это ей, и видеть, как Мила доверчиво наклоняется к его плечу, и ощущать себя сильным и мудрым...

Таня стояла неподвижно, оглядывая всех, и от общего смятения к ней постепенно стало возвращаться ее обычное самообладание. Не объясняя ничего, она вышла в холл и набрала телефон социального патруля. Не

отвечали, она звонила еще и еще. Наконец услышала хриплый мужской голос и стала говорить резко и даже зло. Она знала, как устроена эта служба, что у них только две машины на всю Москву и они с большой неохотой принимают вызовы, а потом имеют право приехать только через сутки. Ей было важно убедить диспетчера, что эта бездомная никуда не уйдет с вокзала, а еще что ею занимается церковная организация, которая в случае чего не оставит халатность безнаказанной.

Закончив, Таня постояла, стараясь отдышаться. Ей показалось, разговор прошел удачно, хотя диспетчер, по обыкновению, не смог назвать точное время приезда. Она вернулась, воодушевленная и собранная.

— Юра, езжай в фонд, — выговорила спокойно и строго. — Отвези на склад вещи, которые не раздали сегодня. Потом найди, пожалуйста, телефон Лизы Тусиевой, такая маленькая черненская девочка, помнишь? Иногда ходила с нами, кажется, она из Тбилиси, позвони, спроси, есть ли там знакомые, которые могут чем-то помочь, может, поискать родственников...

Остановилась, обдумывая что-то.

— Мил, тебе придется подождать здесь, вдруг соцпатруль приедет быстро. Если что, они обязаны отвезти ее в приемник и оказать первую помощь. А я схожу к дежурному по вокзалу, вдруг чем-то помогут, хотя не знаю... У вас нет сейчас других дел? Вы согласны?

Юра кивнул, а Мила подняла красные глаза и осторожно шмыгнула носом.

Все было вроде бы понятно, но они еще минуту не двигались, будто оставалось какое-то важное дело, которое им необходимо было сделать. И все помнили, какое именно — они всегда молились перед любым важным делом, Таня особенно настаивала на этом. Но сейчас ни у кого не хватало духа начать или хотя бы сказать о молитве вслух. Немного постояли, потом рассеянно кивнули друг другу и разошлись.

Оставшись одна, Мила совсем растерялась. Она хотела выйти и ждать в холле, убеждая себя, что так лучше, чтобы не ссориться лишний раз с работницей туалета, сидевшей на кассе и с показным равнодушием поглядывающей на них. Но потом ей стало стыдно перед Софико, оставшейся рядом с большой, и она осторожно присела рядом. «Я совсем не думаю об этой бедной женщине, только о себе, — вдруг поняла она. — Как же это ужасно...»

Она почти силой заставила себя посмотреть в лицо Нины. Глубокие черные впадины закрытых глаз, отходившие от них морщины, порез на уголке губы. Все это было так страшно и жалко одновременно, что хотелось и обнять, и отшатнуться.

— Вот, оботрись, посуше будешь, — услышала она голос Софики, с показной строгостью протягивающей ей зеленый засаленный платок. Мила растерянно улыбнулась, взяла и осторожно дотронулась платком до лица, чувствуя грязное прикосновение к коже, а потом неловко держала его в руках.

— Почему она заболела? — спросила осторожно и сипло.

— Да откуда я знаю, — махнула рукой Софики и невесело усмехнулась. — Продавала розы в переходе, сколько себя помню... Потом весной пропала, киоск закрыли, а потом появилась недавно. Деньги-то закончились, видно, лечиться... Говорила, комнату ее заняли, в подвале жила, здесь, рядом, где мы все... уехать хотела, да вот не судьба.

Коренастый мужчина с огромной дорожной сумкой медленно вошел в туалет, равнодушно покосился на лежавшую на полу больную и на Милу с Софико.

— Хорошая была женщина, — нараспев продолжила вдруг Софико, глядя перед собой. — Помню, поила кипятком, специально чайник держала для меня, мы же с ней землячки... Помогала, не жадная была... Пятьдесят рублей мне как-то дала, вот так просто взяла и дала, — сказала после некоторого молчания и со скрытой надеждой взглянула на Милу. — А мне, знаешь, тоже ведь хотелось ей приятное сделать, я встану возле киоска и зову — подходите, подходите, свежие цветы, а она — уходи, дура! Гоняла меня, конечно, как без этого. Все нас гоняют... А теперь вот, заживо гниет, — добавила грустно, но будто какое-то удовольствие было для нее в жестокости этих слов, в том, что они были правдой.

Где-то зашелестела в трубе вода, послышались чьи-то отдаленные голоса, звон монеток, а потом опять стало тихо. Иногда рядом проходили люди, но Мила и Софико уже не смотрели на них.

Так просидели несколько минут. Вдруг обе очнулись, будто от толчка, и увидели, что по лицу Нины текут тяжелые крупные слезы. Софико наклонилась к ней, и тогда Нина застонала. Звука почти не было, и только монотонный хрипящий воздух выходил изо рта, усиливаясь с каждым выдохом.

— Последняя таблетка анальгина осталась, неси воду, — заторопилась Софико, сердито хлопая себя по карманам куртки, пытаюсь найти потерявшуюся упаковку. — Кружку, кружку у этой спроси, — прикрикнула, видя растерянность Милы.

Работница туалета глядела на них в приоткрытую дверь кассы и не двигалась, не решив еще, как поступить. Общее смятение захватило и ее, но внутреннее упорство не давало сделать шаг навстречу.

— Да что ты за человек такой, ведь давала же когда-то, — закричала в сердцах Софико. — Разберутся сейчас, увезут ее, — и та завозилась у себя в столе, а потом протянула Миле кружку.

Мила побежала к раковине, торопливо стала наливать воду. Но кружка уже была полная, а она все продолжала стоять, оттягивая каждую секунду. Ей страшно не хотелось выходить в тамбур, опять видеть больную стонущую женщину. Она шагнула к двери, протянула Софико воду, стараясь не глядеть, как она дает Нине таблетку, а та запрокидывает голову, закатывая глаза от боли.

— Да это ей как припарка, — воскликнула Софико.

Мила не знала, что делать, и лихорадочно принялась набирать Танин номер, но не попадала дрожащими пальцами по клавишам — казалось, даже телефон теперь вибрирует болью и страхом.

— Ей плохо, плохо, — задыхаясь, выдохнула она в трубку.

— Буду вызывать скорую, — услышала твердый голос Тани. — Иди к выходу, где обычно собираемся, жди меня.

Мила опустила телефон.

— Мне надо, — виновато пробормотала она и, не оборачиваясь, выскочила из туалета. Ей хотелось убежать совсем из этого вокзала, и она боялась только того, что скажет Таня и что потом ей будет невыносимо стыдно за свое малодушие. «Я злая, злая...» — билось в голове, пока неслась по длинным просторным коридорам.

Мила спустилась вниз по неработающему эскалатору, потом запуталась в переходе между кассами и вдруг неожиданно для себя самой оказалась на

знакомой площадке у вокзала — это было то самое место, о котором говорила ей Таня и куда они приходили каждую субботу кормить бездомных. Мила не понимала, что именно ей нужно делать, как найти врачей скорой в при вокзальной суете, и просто остановилась на ступеньках. Они с группой волонтеров много раз бывали здесь, и Мила помнила, что вокруг всегда царило веселое оживление: кто-то подходил, брал свою порцию в пластмассовом контейнере, просил налить еще стаканчик чая. Но сейчас она едва узнавала это неуютное место. Неподдалеку у обжитого бездомными закутка, справа от вокзальных дверей столпилось несколько человек, кто-то лежал, двое мужчин лениво дрались и кричали. Мила оглядывалась испуганно, уже не помня, сколько она уже здесь стоит. И даже когда подошла запыхавшаяся Таня и начала что-то недовольно говорить про дежурных на вокзале, а потом зашла к машине скорой помощи, остановившейся вдалеке, у киоска с сигаретами, Мила все не могла справиться со своим состоянием и только обрывисто кивала, и растеряно шагала за Таней...

Врач оказался совсем молодым парнем. Он деловито сказал что-то маленькой медсестре, с трудом вытаскивающей из машины медицинскую сумку, взглянул на подошедших девушек, как будто по одному их виду понял, что скорую вызвали именно они, и двинулся к вокзалу.

— Вы знаете, что здесь есть медпункт? — спросил он с напором, когда они с Таней вместе входили через тяжелые вокзальные двери.

— Мы видели указатель, но не были там.

— Я вас не спрашиваю, были вы там или нет, я спрашиваю, вы знаете, что скорую на вокзал вызывают из медпункта? — повторил он недовольно.

— Простите, больная не смогла дойти туда, — ответила Таня, мгновенно пугаясь своей едкости, которая могла сейчас только повредить.

— Девушка, ну вы же понимаете, у нас много вызовов, — вмешалась шедшая сзади медсестра, стараясь сгладить острый момент.

Они с врачом вошли в туалет быстро, как хозяева, так что и работница туалета, и Софики неподвижно встали у стены, ничего не говоря и только глядя на их решительные действия. Врач подошел к Нине, присел на корточки и недовольно оглянулся.

— Что у нее? Какой диагноз?

— Нам сообщили, что рак, — ответила Таня, но получилось по-прежнему едко.

— Рак чего, какой степени?

— Я не знаю.

— А что вы тогда мне предлагаете? Полис давайте.

— Полиса нет, она гражданка Грузии. Но вы все равно обязаны оказать помощь, — сказала Таня и опять ощутила тяжелое бессилие внутри.

Врач коротко усмехнулся. Он не ощущал брезгливости от прикосновения к больной стонущей женщине, спокойно прощупал пульс, наклонил голову набок, чтобы она не проглотила язык и не задохнулась. Но он привык всегда руководствоваться рациональностью, считая, что эмоции в их профессии могут только помешать. И теперь он понимал, что в больнице, куда была прикреплена его бригада, сейчас мало мест, а в онкологическое отделение ее просто не возьмут, и потому не имело смысла держать в общей палате умирающую от рака бездомную, когда вместо этого можно было помочь кому-то другому.

— Мы сейчас сделаем укол, — сказал, немного подумав, — ей станет легче.

— Просто укол? — переспросила Таня. — Но через несколько часов опять случится приступ и что тогда? Нужно госпитализировать.

Тот лишь пожал плечами.

— Кетонал, — кивнул медсестре.

— Поймите, у нас десятки вызовов, нас ждут люди, которым мы можем по-настоящему помочь, — еще раз мягко обратилась та к Тане.

— А от таких сердобольных только увеличивается смертность, — продолжал врач, чувствуя ее поддержку.

— Вы обязаны взять, — не сдавалась Таня, но уже машинально, не чувствуя силы в словах.

— Я журналистка, я про вас напишу, — вмешалась вдруг Мила с отчаянной и наивной решительностью — так, закрыв глаза, бросаются в пропасть, но Таня сразу же почувствовала, что нет, не подействует.

— Да пишите, сколько угодно! — неожиданно рявкнул врач, а медсестра торопливо и ласково положила руки ему на плечи, стараясь успокоить.

— Это ваша работа, а это наша...

Таня хотела еще что-то сказать, использовать, может, последний шанс, чтобы повлиять на ситуацию, и шагнула к врачу, хотя даже не придумала нужных слов. Но в этот момент случайно взглянула на Нину и увидела, что глаза ее открыты, а взгляд осмыслен, и поняла, что та все видит и понимает. Они секунду глядели друг на друга. И пока врач отвлекся, чтобы еще раз что-то резкое ответить Миле, Таня наклонилась к Нине и неожиданно твердо и жестко прошептала:

— Простите... я обязательно вам помогу...

Выпрямилась, сказала: «Хорошо, сделайте укол и уезжайте», потом спокойно и даже гордо двинулась прочь.

А когда завернула за угол, быстро побежала по вокзальным коридорам, чувствуя, что скорее умрет, чем остановится. Вылетела на площадку перед вокзалом, всей грудью глотнула горький уличный воздух и подскочила к машине. Увидела простодушное азиатское лицо водителя.

— Вы сейчас приехали на вызов? Какой номер бригады? А как врача зовут? — и стремительно бросилась обратно.

Когда она опять оказалась в холле, Мила растерянно стояла у кассы вместе с Софиго, а врач и медсестра шли к выходу. Таня встала перед ними, загородив турникет, и медленно хладнокровно выговорила, стараясь побороть отдышку:

— Александр Павлович, я позвонила на горячую линию министерства здравоохранения, описала ситуацию и сообщила номер подстанции и вашей бригады — двести четырнадцать. Если вы не заберете эту женщину в больницу, я вас в покое не оставлю.

Они смотрели друг на друга, не отводя ожесточенных взглядов, а врач все сильнее морщился, как от зубной боли. Но вот, наконец, зло усмехнулся и покачал головой.

— Что вы за люди, где вас таких берут... Давайте, молодцы, сделали свое дело, — обернулся к медсестре, бросил: — Позвони Нурлану, скажи, пусть носилки тащит.

А потом отошел в холл и принялся независимо прогуливаться от стены к стене...

Неловко перекладывали Нину на носилки, стараясь меньше дотрагиваться до целлофанового мешка. Таня смотрела на это, еще не веря в то, что все получилось, и по-прежнему чувствуя бьющуюся внутри злость.

— В какую больницу вы ее повезете? — спросила, стараясь сдерживать дрожь в голосе.

— В 56-ю городскую, — устало ответил ей врач.

Он взялся за носилки спереди, а шофер сзади, и понесли, с трудом проходя через турникет, застревая в нем, ругаясь. Мила стояла у стены. Ей было невероятно грустно, и тогда она коротко перекрестила больную, пытаясь подбодрить то ли ее, то ли себя, но в следующий же момент смутилась своего картинного жеста и опустила руку.

Шли по вокзальным коридорам — медсестра впереди, освобождая дорогу, а Таня, Мила и Софиго следом. Оказались на улице, врач и водитель медленно и неожиданно осторожно погрузили носилки в машину. Врач, не обернувшись, залез в кабину, медсестра попрощалась с холодной вежливостью. Таня и Мила ждали, когда закроются двери, когда заведется мотор, а Софиго стояла чуть поодаль, боясь подойти. Когда же машина уехала, Мила обернулась к ней, отрывисто кивнула, и они с Таней медленно двинулись куда-то в сторону.

Софиго осталась одна, будто забытая кем-то на этом шумном вокзале, переминаясь с ноги на ногу, шепча что-то про пятьдесят рублей и вздыхая от своего внезапного одиночества. Ей хотелось плакать даже сильнее, чем когда она сидела у умирающей Нины. «Эх, вот и уехала Нинка», — неловко взмахнула она рукой и попыталась улыбнуться.

А тем временем Таня и Мила шли через привокзальную площадь к подземному переходу, и навстречу им попадалось множество куда-то спешащих людей. Немолодой мужчина в толпе монотонно звал на автобус до Ростова. Женщина в капюшоне, почти закрывающем лицо, раздавала листовки у спуска в переход, у нее под ногами ерзал маленький ребенок, и она иногда рывкала на него, чтобы стоял смирно. Рядом безногая просила милостыню. Еще ниже по лестнице сидели двое бездомных, а один с наслаждением курил, откинувшись на грязную стену перехода. Они спускались вниз, и с новой силой хлынули им в глаза лица, лица... А когда вышли на той стороне Павелецкой площади, увидели на пяточке большую стаю голубей, теснившихся вокруг крошечной мусорной урны. Громко звякнул проходящий трамвай, голуби мгновенно взлетели, и весь воздух наполнился торопливым хлопаньем крыльев...

В маленькой квартирке, где девушки снимали комнату на двоих, было пусто, и, войдя, они обрадовались этому, потому что не хотелось ничего сейчас рассказывать соседкам. Молча шагнули на кухню, снимая одежду, чтобы развесить на батарее. Таня налила воды в чайник, и он неожиданно громко зашумел, так, что Мила вздрогнула.

— Надо будет разобраться с правилами помещения иностранца в хоспис, в больнице ее продержат максимум до понедельника, — задумчиво сказала Таня, как бы для себя.

Мила кивнула, но ей стало стыдно, оттого что она даже не подумала, что нужно что-то еще делать, будто на том, что больную увезла скорая, все и закончилось.

— Знаешь, я поняла сегодня, что совсем не люблю людей, никого, — тихо призналась она. — И эта Нина, мне так жаль ее, но боюсь, что я и ее не люблю...

— Давай помолимся, — спокойно ответила Таня.

Они встали перед большой иконой Богородицы, скотчем прикрепленной к стене возле окна. Миле хотелось быстрее начать произносить молит-

ву, чтобы тяжелые древние слова захватили ее, наполнили успокаивающим размеренным движением, но Таня будто нарочно молчала, позволяя прийти самым мучительным мыслям — она всегда делала все самым тяжелым способом, не давая поблажки ни себе, ни другим. А потом долго еще шумел и трясся чайник, и они не могли начать раньше, чем он окончательно закипит.

Наконец щелкнуло, и стало тихо. В этот момент в напряженной густой тишине резко зазвонил телефон. Мила с выдохом опустилась на стул.

— Юра, — многозначительно кивнула Таня и услышала в трубке знакомый взволнованный голос.

— Таня, Таня, привет! Я нашел ту самую Лизу Гусиеву, ты слышишь меня? Оказалось, у нее есть знакомые в социальной службе при Грузинской Церкви, они согласны принять эту женщину и ухаживать за ней...

— Удивительно, — неловко пожала плечами Таня, и мгновенно завертелась в голове мысль. — Подожди, а как ее перевезти? Кто-то же должен ее сопровождать?

— Реаниматолог, — ответил Юра, не скрывая беззаботного удовольствия от того, что знает такую профессию, о которой Таня, возможно, никогда не слышала. — Есть, оказывается, специальные службы, которые этим занимаются. Рядом мой хороший друг, я рассказал ему эту историю, мы позвонили еще двум ребятам и вместе собрали деньги.

Он старался говорить медленно, но иногда получалось взмах от радости, что все получилось — конечно, все должно было чудесным образом получиться, а они не верили. Мила слышала громкий Юрин голос, кажется, он ехал в метро и пытался перекричать шум поезда, и ей было немного обидно, что она так много пережила за этот день и ничего по сути не сделала, а ему все это так легко удалось.

— Сейчас я еду в аэропорт договариваться о рейсе, — продолжал Юра, и его слова потерялись в отрывистом резком гуле, — ...реаниматолог может вылететь с ней прямо завтра...

— Юра, ты молодец, — устало выговорила Таня и улыбнулась. Она положила телефон, и девушки радостно и молча обнялись.

Миле вдруг стало так беззаботно и радостно, что хотелось прыгать по комнате, петь, танцевать. Но она постаралась вести себя сдержанно, неосознанно подражая Тане.

— Надо позвонить в больницу, — сказала серьезно, — чтобы ее предупредили, обрадовали.

Таня кивнула, стала искать в интернете точный номер больницы.

А когда звонила, еще не пришла в себя от оживления и потому заговорила веселым торжественным голосом, будто хотела поздравить кого-то с праздником.

— Здравствуйте, это приемный покой? К вам сегодня должна была поступить женщина, Нина Марцваладзе... да, которая из Грузии... Мы хотели предупредить вас, что скоро... наверно, даже завтра, заберем ее на Родину. Пусть продержится, потерпит еще сутки!

На том конце Таня почувствовала недоумение. А потом глубокий мужской голос медленно спросил ее:

— Вы откуда, девушка? Где вы работаете?

— В фонде «Предание», — машинально ответила она. — Но еще я занимаюсь бездомными...

— Не тратьтесь на билеты, женщина скончалась, — серьезно сказал он.

— Скончалась, — растерянно повторила Таня, сжимая в руках трубку...

Они с Милой молча посмотрели друг на друга, не зная, что теперь еще говорить. У Тани подкатила к горлу злость на больницу, может, на того врача из скорой, но ожесточенные мысли просто текли, не вызывая никаких чувств. Потом она стала корить себя, что не помолилась перед тем, как пойти к администратору, что до конца не верила в то, что все получится, что это она во всем виновата — наконец, зажмурилась, стараясь справиться с потоком мыслей. А через секунду увидела, что Мила закрыла лицо руками, и подсела рядом, обняла — было легче, оттого что Мила может заплакать, кому-то еще нужна была ее крепость. Мила же сидела с сухими глазами, не думала ни о чем, просто прижимаясь к Тане, чтобы чувствовать что-то тепло.

— Надо позвонить Юре, — тихо сказала она.

— Да, да, — заторопилась Таня, оживляясь от необходимости что-то сделать. Набрала по памяти номер.

— Все, Юр, она умерла, можно расслабиться, — сказала в трубку, не дожидаясь Юриных вопросов, а потом подумала: «Господи, что за нелепая фраза, как так расслабиться...»

Но на душе и правда что-то ослабло.

Монотонно стучал по карнизу дождь, разрывая тишину. В окне, как в кривом зеркале отражался огромный, горящий огнями город, изуродованный дождевой рябью. Медленно текли минуты, и постепенно сильная безотчетная тоска овладела ими обоими. Они думали о Нине, о ее одиночестве, о смерти, о том, как сильно она страдала и сколько же еще таких людей в мире.

Но, конечно, они не могли знать, что в свои последние часы на вокзале Нина почти не испытывала боли. Она лежала в забытии, ощущая только холод, как когда-то зимним утром в Тианети на похоронах мужа. Они тогда стояли с дочерью Марией у могилы, глядя, как в запорошенную снегом могилу опускают гроб, и Нина плакала не столько о муже, сколько о том, как же им жить дальше. И сегодня на вокзале ей все казалось, что она по-прежнему стоит там, и до сих пор длится одно только это мгновение. А когда пробуждалась и слышала, что странные молодые люди собираются взять ее в Грузию, то радовалась, но в то же время хотела изо всех сил сказать им, что не просто в Грузию, а именно в Тианети, на старое кладбище на берегу Иори, увидеть могилу мужа, постоять в шелесте деревьев, пока еще не наступила зима...

В те часы на вокзале Нина уже не помнила свою дальнейшую жизнь — как поехала в Москву на заработки, чтобы содержать дочь, оставив ее в доме у сестры, как ей сообщили, что Мария заболела, и как не было денег на билеты. И только когда русский врач наклонился над ней, Нину неожиданно пронзила тоскливая лихорадочная мысль, что укол нужно делать не ей, а Маше, но в следующее же мгновение она опять провалилась в зыбкое тупое ожидание.

Последние пять лет после смерти дочери она жила в Москве, уже не зная, зачем ей этот чужой город, зачем работа и деньги, привыкнув к размеренной тяжелой жизни и не решаясь что-то изменить. Но даже в эти годы Нина бывала счастлива. Это случалось иногда по утрам, когда еще только светало, и она стояла в переходе у метро, открывая большие железные щиты своего киоска. Тогда сердце ее вдруг сжималось неясной



радостью, и она начинала весело брызгать водой в сонные лица цветов, протирать разлапистые листья. В такой день все спорилось у нее, клиенты попадались приветливые и щедрые, торговля шла бойко. А вечером Нина приходила к себе в комнату и разрешала себе выпить два стаканчика вина, чтобы потом тихо запеть про себя задорную грузинскую песню, напоминавшую ей родной Тианети...

Последний раз она пришла в себя, когда ее уже подняли на носилки, и вдруг увидела перед собой женщину в синей медицинской куртке, так похожую на ее Марию, и подумала, что та выросла и приехала к ней в Москву. Нина улыбнулась женщине сквозь слезы, та взглянула тревожно, пошла сначала рядом с носилками, а потом обогнала их. Тогда другая девочка, оставшаяся стоять у стены, маленькой ладошкой перекрестила их на прощанье. Нине неожиданно стало тепло, и все вокруг исчезло...

